

Т.Л. Рыбальченко  
Томск, Россия

## А. ПЛАТОНОВ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

**Аннотация:** В статье дан обзор интерпретации творчества А. Платонова в критических статьях и эссеистике русских писателей второй половины XX века. Выявляется разница восприятия идей Платонова, связанная с публикациями 1960-х и 1980–1990-х годов, а также сменой эстетики писателей советского и постсоветского поколений. Устанавливается различие трактовок художественного мира Платонова, связанное с различием художественных течений в русской литературе второй половины XX века (онтологического реализма, экзистенциального реализма, проективного реализма, модернизма и постмодернизма). Объясняется зависимость восприятия прозы Платонова индивидуальными художественными установками писателей.

**Ключевые слова:** А. Платонов, интерпретация, русская литература второй половины XX века, А. Битов, Ю. Трифонов, С. Залыгин, В. Шаров, О. Павлов, В. Отрошенко.

T.L. Rybalchenko  
Tomsk, Russia

## ANDREI PLATONOV IN THE INTERPRETATION OF THE RUSSIAN WRITERS OF THE SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY

**Abstract:** The article reviews the interpretation of Andrei Platonov's works in the essays and critical works of Russian writers in the second half of the XXth century. The article reveals the difference in the perception of Platonov's ideas connected with the publications in 1960s and in 1980–1990s, as well as with the changes in the aesthetics of the Soviet and post-Soviet generations of writers. The difference of the interpretations of Platonov's universe is established in its connection with different literary tendencies in the Russian literature of the second half of the XXth century (ontological realism, existential realism, projective realism, modernism, postmodernism). The peculiarities of the perception of Platonov's prose is explained also through the individual literary intentions of the writers.

**Keywords:** Andrei Platonov, interpretation, Russian literature of the second half of the XXth century, Andrei Bitov, Yurii Trifonov, Serguei Zalygin, Vladimir Sharov, Oleg Pavlov, Vladislav Otroshenko.

Посмертное открытие Платонова русскими писателями второй половины XX века можно разделить на два периода, связанные с двумя волнами издания его прозы, а главное – с двумя социальными изменениями в советской России («оттепелью» и «перестройкой»).

В 1950–1960-е годы толчком к перечитыванию прозы Платонова стало переиздание его малой прозы, вписывающейся в трагическую, но не каноническую эстетику литературы «социалистического реализма» (четыре сборника прозы: «Волшебное кольцо и другие сказки» (1954), «Избранные рассказы» (1958), «В прекрасном и яростном мире. Повести и рассказы» (1965), «Избранное» (1966) – и сборник литературно-критических работ «Размышления читателя. Статьи», 1970). Трехтомник 1984-го года принципиально не расширил пространство опубликованных текстов, не включил главные и переломные произведения Платонова рубежа 1920–1930-х годов и потому не спровоцировал широкого интереса и нового прочтения. В конце 1980 – начале 1990-х годов издание главной прозы и драматургии Платонова (прежде всего прозы переломных конца 1920 – начала 1930-х годов – «Чевенгур», «Котлован», «Ювенильное море», «Счастливая Москва» и др.) представило духовную и творческую эволюцию Платонова в полноте.

Восприятие наследия Платонова писателями второй половины XX века, безусловно, связано с

незнанием «всего» Платонова, но писатели могли знать неопубликованную прозу Платонова, так как «самиздат» действовал с начала 1960-х годов. Так, В. Шаров свидетельствует, что пятнадцатилетним [Шаров 1999: 199] мальчиком в 1967 году прочитал «Котлован», «самиздатовский» текст которого был у отца-историка. Однако в эссе и критических статьях 1960-х годов на знание его неопубликованной прозы не намекали, например, ни А. Битов, близкий в 1960-е годы ленинградскому андеграунду, ни Ю. Трифонов, глубоко погруженный в эпоху 1920–1930-х годов, ни Ю. Нагибин, причастный к личной жизни Платонова. А. Битов признавался позднее о влиянии на стилистику и поэтику его собственной ранней прозы (как и прозы других «молодых» прозаиков 1960-х годов) «отобранной, очищенной от полноты платоновского мироощущения “детской” прозы» Платонова [Битов 2001: 182]. Очевидно, в начале 1960-х годов привлекал стиль, необычность говорения о мире, видение действительности, выходящее за границы конкретной социальной детерминированности, однако на периферию отходила универсальность мышления писателя, его антропология и натурфилософия. Не знали всю прозу Платонова В. Распутин, В. Астафьев, свидетельствовавший, что прозаики 1960-х пишут «под Платонова», но сам он ценил лишь традиционный рассказ «Третий сын» [Астафьев 1998: 247, 255]. С. Залыгин, написавший в 1970 году глубокую статью о прозе Платонова,

явно не был знаком с произведениями, выразившими трагическую концепцию бытия у Платонова, поскольку чутко обнаруживал странную близость и одновременно различие платоновской и сказочно-мифологической модели мира, но не мог её объяснить, не зная неопубликованной прозы.

Казалось бы, исследование судьбы народа в советской истории должно было привлечь внимание к Платонову писателей-деревенщиков, показывавших расхождение советской цивилизации не только с этикой гуманизма, но и с природными законами. Однако явный эволюционизм Платонова, установка на человека-демиурга, негативная оценка безынициативной крестьянской культуры расходились с главными духовными устремлениями почвеннической (традиционалистской, онтологической) литературы, утверждавшей ценности традиций, опирающихся на природные законы. Мифологизация природного космоса и природного человека в творчестве писателей 1960–1970-х годов не совпадала с платоновской натурфилософией и делала странной его картину мира даже в прозе, опирающейся на традиции национального мышления.

«Постоттепельная» либеральная литература, отстаивающая ценность индивидуальной человеческой личности в конкретных условиях существования не могла принять мысль о примате вселенской миссии человеческого рода, не совпадающей с претензиями индивидуального человека. Экзистенциальный ракурс «шестидесятнической» литературы делал онтологический масштаб видения человека и социума слишком близким к проективным, глобалистским эпистемам «большого» искусства «социалистического реализма». Эстетика конкретного гуманизма, утверждавшаяся в постготалитарном искусстве, побуждала и у Платонова искать индивидуальную психологию, бытовую конкретность. Писатели-диссиденты не отделяли А. Платонова от «советских» писателей, потерпевших от советской власти, но разделявших социально-исторические мифы о человеке-преобразователе; было чуждым неприятие Платоновым западной цивилизационной модели. Бродский, только в эмиграции познакомившийся с «несоветским» Платоновым, в «Предисловии к “Котловану”» [Бродский 2011], показал власть национального языка над писателем Платоновым, власть русской эсхатологической ментальности, совпавшей с парадигмами советской идеологии.

Знакомство с «новым» Платоновым в период «перестройки» не вызвало изменения интерпретации его творчества у поколения «шестидесятых». Даже А. Битов, обнаружив в неизвестном ранее Платонове глубину онтологической проблематики, всё же говорит о влиянии гуманистической этики [Битов 2011: 183]. В. Распутин, прошедший мимо Платонова в 1960–1970-е годы, признал высоту таланта Платонова после знакомства с его погашенной прозой, но прочитывал её как следование учительской традиции русской словесности и народного традиционалистского сознания [Распутин 2000: 8]. Большая часть писателей воспринимала лишь этико-социальную направленность опубликованной прозы в ряду всей «задержанной» литературы советского

времени. Зато новое поколение писателей, не ограничившись социальной интерпретацией, созвучной постсоветской идеологии, обратилось преимущественно к метафизике Платонова.

Как и в 1960-е годы, открытие неизвестной прозы Платонова не определило художественных поисков русских писателей, не породило влияния. Распутин полагал, что Платонову уготована *непрочитанность*: современное фрагментарное сознание не воспринимает «всю длину национального существования. А Платонов – смотритель изначальной русской души...»; современному отстранённому сознанию не созвучны платоновское чувство родственности бытия и архаическое сакральное отношения к природе [Распутин 2000: 8]. А. Варламов полагает, что знакомство с прозой Платонова могло повернуть развитие русской литературы в XX веке, хотя бы в постоттепельное время, если бы в то время стали известны главные философские антиномии платоновской прозы («Чевенгур» – «книга, которая могла бы изменить... течение всей русской прозы XX века») [Варламов 2010: 122]. Однако и русская литература постсоветского периода пошла по путям, далёким от пути Платонова.

Наследие Платонова интерпретировалось русскими писателями в соответствии с собственным мировидением и эстетическими пристрастиями и под влиянием социокультурной ситуации. Это делает их интерпретации важным материалом, во-первых, для исследования эстетики и поэтики этих писателей, во-вторых, для выявления разных духовных поисков русской литературы позднего советского и постсоветского периодов. В-третьих, «писательская рецепция» важна и для прочтения Платонова, так как находится на границе непосредственного читательского восприятия и интеллектуальной интерпретации. Опираясь на эссеистику, интервью, публицистику, можно говорить не о творческой рецепции, а о читательской критической рецепции, обращая внимание на различие подходов к наследию А. Платонова: оценку феномена творчества Платонова в современной духовной ситуации; актуализацию философских прозрений Платонова; разгадку кода художественности Платонова.

Более заинтересованно русские писатели говорят об онтологии Платонова, о симбиозе натурфилософского и архаического мифологического мышления (С. Залыгин, И. Клех, А. Иличевский). Публикация записных книжек Платонова дала толчок для трактовок мистических прорывов в сознании писателя, идущих от раннехристианского эсхатологизма и федоровской неомифологии (О. Павлов, И. Полянская, В. Шаров). Есть внимание к противоречивой эволюции философских воззрений Платонова, не сводимой ни к социальной трагедии непечатаемого писателя (А. Битов, В. Маканин, А. Варламов), ни к крушению собственных иллюзий Платонова (И. Бродский, В. Шаров, О. Павлов).

Попробуем очертить писательскую интерпретацию наследия Платонова в историко-литературном аспекте, обозначив лишь векторы восприятия художественного мира Платонова, проявившиеся не в творческом диалоге современных писателей с

Платоновым, а прямо, в эссеистике и в критической публицистике. Векторы следующие: 1) различие интерпретаций, вызванное различием эстетических систем писателей; 2) изменение интерпретаций, связанное со сменой ценностного центра русской литературы в ситуации наступления эстетики постмодернизма; 3) выявление трёх основных аспектов интерпретации: онтология; антропология и социология; поэтика.

Писатели, продолжавшие литературу социального проектирования, наследующие неопозитивистские цивилизационные ценности («производственная проза» 1950–1970-х годов), не оценили раннюю, утопическую, прозу Платонова, как и его прозу 1930–1940-х годов, выдвигавшую человека-демиурга, выразителя чаяний человеческого рода.

Казалось бы, Платонов близок писателям-деревенщикам по материалу (жизнь народа в природном космосе), по надперсональному видению человека как надперсональным «почвенным» сознанием), по критике социалистической цивилизации, разрушавшей глубинные основы народной жизни. Однако ни Ф. Абрамов, ни В. Астафьев, ни В. Шукшин не оставили серьёзных суждений о Платонове. Сочувственное отношение Платонова к цивилизации (в прозе 1930-х годов) не совпадало с пассеистским утопизмом «деревенщиков»; концепция косной материи отпугивала русских неомифологов, одухотворявших материю; платоновский «сокровенный человек» противоречил человеку – носителю сакрального знания; язык Платонова был далёк от народного разговорного языка, хранящего тысячелетнюю *крестьянскую* культуру. Даже в 1990-е годы от принятия «всего» Платонова далёк, например, В. Распутин, констатирующий только то, что близко ему самому: «Герой Платонова... естественный, природный человек, думающий не согласно с приобретённым опытом человечества, а согласно с органической природной мудростью...» [Распутин 2000: 8]. Распутин игнорирует ноосферное демиургическое сознание платоновских персонажей, их «любовь к электричеству», их стремление укротить природу. Распутин не хочет видеть в Платонове ни выразителя, ни критика русского утопизма и мессианства: «главная и всеобъемлющая его тема – скорбь по миру и человеку».

Авторов социологической деревенской прозы привлекала сатира Платонова («Город Градов»), но серьёзной интерпретации особенности платоновского гротеска они (например, Б. Можаяев, В. Войнович) не оставили, очевидно, осознавая наличие надсоциальных смыслов художественного мира Платонова.

С большим интересом восприняли опубликованную в 1960-е годы прозу Платонова авторы бытовой психологической «городской прозы», реалисты, восстанавливавшие эстетику «правды» конкретной жизни в противоборстве проективной литературе «соцреализма». Их эстетика вводила в ценностно значимый кругозор индивидуального и частного человека повседневный быт, ситуативное поведение человека, конкретное проявление психики; «сокровенный человек» прочитывался ими как индивидуальный человек в сложности общения с другими

людьми, а не с родом или космосом (Ю. Нагибин, Ю. Трифонов, ранний А. Битов, В. Маканин). В платоновской прозе они нашли гуманистическую этику, глубину исследования психики персонажей (особенно ценились такие рассказы, как «Фро», «Возвращение», «Третий сын»), но им был чужд космизм сознания героев Платонова, их некультуренная природность, неситуативность их сознания.

Ю. Нагибин оставил читательскую рецепцию романа «Счастливая Москва» в 1992 году, выявляя этико-социальную позицию автора романа, но, пожалуй, более глубокое понимание художественности Платонова и необычности эстетики Платонова обнаруживается в интерпретации 1967-го года пьесы «Волшебное существо» (написанной Платоновым совместно с Р. Фраерманом и поставленной Малым театром в 1966 году). Нагибин констатирует непонимание зрителями платоновской речи, принадлежащей не столько социальной реальности, сколько «образному и философскому миру Платонова» [Нагибин 1977: 111]. Странность героев, «небытовые свойства характеров» Нагибин объясняет с позиций шестидесятнического гуманизма: герои страдают без любви, и «человека можно исцелить только другим человеком, а человечество не в дали неопределённой множественности, а всегда рядом с тобой...» [Нагибин 1977: 117]. Вместе с тем, Нагибин понимает особую, отличную от господствовавшего конкретного психологизма, художественность и особую, отличную от персоналистской, этику Платонова: «для Платонова нет ничего противного <...> Он не язычески, не эллинически любит человека, а как химик. Он любит и уважает изначальные элементы, из которых состоит человек: фосфор, кальций <...> Безмерное уважение к органической жизни заставляло Платонова любовно принимать всё, на чём есть знак человека» [Нагибин 1977: 117]. Антропологизм Платонова, замеченный Залыгиным, был странен для «городских» писателей 1960-х годов.

А. Битову, психологу и бытописателю, в 1970–1980-е годы важны отношения Платонова с языком. Битов ценит у Платонова не особенную лексику, не изыски синтаксиса, а осмысленность слова, «постижение смысла» слов и смысла того, что слова называют: «Один из самых богатых по языку прозаиков советского времени Андрей Платонов безусловно не богат по словарю. <...> Платонов выражал эти смыслы самыми “бедными” словами, смысл которых поймёт каждый, кто взойдёт на духовное усилие» [Битов 1983: 38]. Платонов представлял для Битова, как и для многих подцензурных писателей, пример личного стоицизма: писать «с угрозой не только нищеты, но и гибели» [Битов 1990: 381].

В постсоветскую эпоху Битов прочёл в открывшейся прозе Платонова универсальность экологических идей, «страшную и сочувственную правду о конце усилий цивилизации» [Битов 1988: 385]. Оценив натурфилософский масштаб идей Платонова, Битов прежде всего прочитывает гуманистическую составляющую платоновской прозы, этика сочувствия несовершенному человеку акцентируется сильнее, чем бытийный абсурд: «Жалость и

любовь такой силы, что почти равны убийству. <...> Душа, особенно растренированная, начинает болеть <...> по поводу собственной неупотребленности, заскорузлости, невоплощенности» [Битов 2011: 182]. Натурфилософское прочтение корректирует понимание языка Платонова: Платонов не «перелопачивал опыт традиции, а «описал то, что не было описано», языком первобытного зарождающегося сознания, как Зоценко и Заболоцкий, «начал объяснять мир» [Битов 2011: 183].

Ю. Трифонов в 1960-е годы отдавал предпочтение литературе, «исследующей мир», в отличие от «созидающей мир». Преодоление Платоновым в 1930-е и послевоенные годы утопических космологических концепций для Трифонова было подтверждением истинной тенденции движения литературы от глобальности к конкретному реализму. Трифонов с опаской говорит о символизации реальности: «непреходящи и вечны только человеческие характеры», и отказывается от антропологии Платонова [Трифонов 1985: 83], от платоновского стиля, в котором он чувствовал отстранённость от бытового языка: «ненужно останавливает внимание какая-то ненатуральность в языке, желание непременно сказать фразу вычурно, этаким винтом, чтобы она врезалась в читателя ...» [Трифонов 1985: 276].

В. Маканин в романе «Андеграунд, или Герой нашего времени» отразил авторитет личности Платонова в среде андеграундной интеллигенции (миф о гении, служащем дворником в Литинституте), но публично высказался о творчестве Платонова только в 2000-е годы, что свидетельствует о чуждости «отяжелевшей» платоновской манеры письма самому Маканину, преодолевшему бытовую миметизм, но оставшемуся в рамках бытовой знаковости образов. Маканин вписывает прозу Платонова в тенденцию русской литературы XX века – движение от социальной детерминированности характеров к выявлению антропологической сущности человека, к его телесной природе, что проявило социальную маргинализацию русского человека в XX веке вначале – социалистическими устоями, затем тотальной десоциализацией человека в современной России. По мнению Маканина, этику отказа от богатства и культуры, «раздевание героя», Платонов довёл до конечных беспощадных смыслов, приблизил «к голый, к обнаженной сущности *героя античной драмы*». Маканин, обращая внимание на психологизм Платонова, не замечает в его персонажах интенции к созиданию, и видит, соответственно собственным художественным представлениям, только «усомнившегося» героя, утратившего идеалы и надежды: человек показан Платоновым не в действии, а в разгадывании мира, он и восхищается действиями природы и людей, и «усомнился» в них, уловил их расхождение с идеалом [Маканин 2004: 160].

Неомодернисты 1960–1970-х годов (Саша Соколов, Ю. Мамлеев) тоже обошли вниманием Платонова: его техницизм помешал увидеть близкие модернизму грани мировидения, следы архаического мифомышления, одушевление неживого и внимание к превращениям, бесстрастное изображение процесса распада форм. Это констатировал у Плато-

нова и даже объявил о близости себе Платонова Ю. Мамлеев: «...я ощущаю к нему какую-то странную близость; но читать его я стал относительно недавно, уже оказавшись в эмиграции» [Мамлеев 2011: 62]. Вместе с тем Мамлеев акцентировал различие между традицией русского «фантастического реализма» и собственным «метафизическим реализмом» («социальная жизнь вытесняла мистику, у отдельных авторов она вырывалась») и называет среди немногих русских писателей «гениального прозаика» Платонова: «У Платонова, кстати, нет дверей в потустороннее, одним только языком выражен уровень сознания русского человека. Это единственный писатель, который проник во вторую реальность. И все равно, в основе этих произведений лежали либо психологический, либо классический реализм» [Мамлеев 2012].

В 1960–1970-е годы не была оценена мистическая (иррациональная) составляющая прозы Платонова, что сделали в конце XX века писатели нового поколения: И. Клевх, О. Павлов, И. Полянская, А. Иличевский. Они прочитывают в произведениях Платонова не отражение действительности, не разглядывание реальности, а проявление духовной субстанции бытия. И. Клевх: «Платонов – хтонический писатель, через которого пытается с нами заговорить сама природа, чьим созданиям доставляет боль рождение лопающейся в мозгу мысли <...> Здесь сжатая капсула платоновского письма, взятого в фазе до его усомнения в собственной правоте...» [Клевх 2000: 53, 52]. О. Павлов говорит о поэтике мистического видения Платонова [Павлов 2000].

Другой аспект модернистского прочтения прозы Платонова связан с узнаванием у него метафизики национального сознания, нематериальной сущности действительности, воспринимаемой мистически. И. Полянская прочитывает у Платонова выражение женственности русской души: «текучая надмирная отстранённость и одновременно покорность, подверженность стороннему влиянию» [Полянская 2002: 251]. В. Шаров указывает на метафизическую позицию автора и метафизический сюжет в поэтике Платонова: «...воспроизведение очищения героев от плотской оболочки жизни ради приближения к подлинной жизни... <...> Та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена, <...> ты привык, что это видит, знает, судит только Высшая сила, и то – когда человек уже умер и его душа отлетела к Богу, предстала перед Его судом» [Шаров 2000: 200].

Несмотря на форматворческие стратегии Платонова, близкие раннему русскому авангарду, концептуалисты 1960–1970-х годов (Вс. Некрасов, Д.А. Пригов, Вл. Сорокин) не разгадывали прозу Платонова, ибо её онтологическая основа была противоположна метафизике пустоты (в концептуалистской версии), а эстетика Платонова, неразрывно связанная с этикой, казалась данью традиции. Прорыв постмодернистского истолкования текстов Платонова (метафизики языка, а не образного мира) сделал И. Бродский, признавший Платонова русским сюрреалистом, выразителем непознаваемости



бытия, абсурда не индивидуального, как у Кафки, а абсурда коллективного – национального сознания. Абсурд Платонова, по Бродскому, не хтонического происхождения, он стал следствием власти языка. Причина не в принятии советского «новояза» или социалистических утопических идей, а во власти языка, что особенно присуще русской культуре, бегущей от реальности в сослагательное наклонение речи. Первенство ожидания над деянием, приоритет проекта над действительностью порождают власть языка, выстраивающего альтернативу реальности: «Платонов сам подчинил себя языку эпохи, увидев в нем такие бездны, заглянув в которые однажды, он уже более не мог скользить по литературной поверхности, занимаясь хитросплетениями сюжета, типографскими изысками и стилистическими кружевами» [Бродский 2001: 73].

В. Отрошенко, опираясь на хайдеггеровское понимание языка как дома бытия («Язык могущественнее и потому весомее нас»), доказывает, что в Платонове непостижимо явился дух генотекста. Все пишущие оказываются во власти письма, проявляющего некий мистический текст: «Единое существо языка проявлено в разнообразных существах языка. Одно из них – существо языка Платонова <...> которому Платонов всего лишь соответствовал» [Отрошенко 2011: 50]. Отрошенко приближается к интерпретации модернистской мистики в трактовке сознания Платонова («Платонов – это посторонний дух на земле, постигающий способ жизни в теле, в материи») [Отрошенко 2011: 77], однако, в отличие, например, от Битова и Павлова, ставит под сомнение этическое и гуманистическое отношение Платонова к описываемым явлениям жизни, оставляет писателя инструментом языка: «Любил ли Платонов людей и жизнь? <...> Платонов выказывал задумчивое внимание, глядя на жизнь человеческого существа, которая при каком-то устройстве внутреннего глаза выглядит как явление незнакомое и даже мистическое. Только такое, не смешанное с земной жизнью, видение мира могло породить слова, которые как будто не принадлежат человеку» [Отрошенко 2001: 76]. Напротив, В. Шаров доказывает, что язык выдаёт ангажированность Платонова духовным утопизмом времени: «У Платонова фраза вся целиком состоит из надежд и упований, она буквально захлёбывается ими, потому что ждать осталось самую малость, а столько важного, решающего надо сказать, чтобы помочь спастись всем, кого ещё можно спасти» [Шаров 2009: 165].

Эстетические концепции русских писателей довлеют при истолковании природы и сущности платоновского письма и платоновского образного мира. Главные аспекты (семантические поля) прочтения Платонова, по которым можно сравнить писательские интерпретации, в рамках статьи можно обозначить лишь схематически, обнаруживая противоречащие друг другу трактовки. Интерес в таком случае вызывают аргументы авторов, проявляющие их собственные реальности, человеческого существования и слова, художественной словесности. Однако от изложения этого в статье приходится

отказаться, ограничившись только формулировкой концепций.

### Трактовки онтологии в прозе Платонова

Два антиномичных полюса бытия равно приписываются картине мира Платонова: природность и мистическая нематериальность «вещества существования»; Платонов видится то натурфилософом, то медиумом.

С. Залыгин прочитывает прозу Платонова в аспекте сознания персонажей, не только близких языческой мифологизации природы, но и тех, кому присуща интенция демиургов. При этом Залыгин ищет константы авторского мышления в космологии Платонова: Платонов выражает чувство материи, творящей себя, что проявляется в особом анимизме и телесности платоновского мира, в одухотворении вещей, машин, «второй природы». Предрасположенность Платонова к разгадыванию трагизма бытия Залыгин объясняет позицией автора: смотреть на мир глазами бесконечно становящейся, амбивалентной реальности. Как и героев Платонова, автора «не покидают два понятия: одно о конце мира, другое – о возможности переустройства мира» [Залыгин 1991: 336]; «платоновский человек <...> частица этого мира и этой природы, их высшего смысла...» [Залыгин 1991: 343]. «Слиянность с Землёй, с почвой, с природой и внушает <...> чувство и необходимости, и неизбежности своего существования» [Залыгин 1991: 346]. «В отличие от Достоевского, который исходил из мирового духа, для Платонова <...> главным “материалом” было “мировое вещество”, включая сюда и духовные свойства этого вещества» [Залыгин 1991: 348]. Платонов воспроизводил «единый биопсихологический, природный процесс», и даже мораль у него «не отделена от жизни, <...> заключена в этом веществе» [Залыгин 1991: 351].

В 1990-е годы О. Павлов подхватил эту материалистическую трактовку художественного мира Платонова, хотя он заявляет, что «Платонов – это чистая метафизика» [Павлов 2003: 202], и метафизическую ситуацию трактует как «убийство Бога» [Павлов 2000: 159], утраты веры в воскрешение материальной жизни: «Природа заражена смертью, существование людей неподлинно, жертва сокрушительна... <...> Платонов заморожен не самой гнетущей картиной умирания, а смертью как трагическим преобразованием вещества существования, то есть живого, и все его герои также находятся в этих странных – замороженных, медленных – отношениях со смертью. Духовно он следует этапам смерти, одолевая главные ее состояния для человека: свидетеля чужой смерти; утрачивающего любящего или любимого; расстающегося с родным существом; умирающего в силу естественного прекращения сил или испытывающего суицидную тягу к смерти; идущего на смерть как на воинский подвиг; приговоренного к смерти и ждущего казни; новорожденного на свет в природной мене со смертью...» [Павлов 2000: 162]. Платонов в «метафорах существования» передавал и то, что убийство «отнюдь не метафизично», и сопротивление смерти, работу с ма-

терией жизни, «первобытный почти труд»: «будто б в них происходит все еще само ее творение, ощути-мо животное тепло каких-то органических рожде-ний. Но в картине каждого повествования зияет смерть...» [Павлов 2000: 160]. Метафизика вошла в жизнь и сознание как гибельность материи, а чело-век принял миссию Бога одухотворить материю жизни; материя жизни заговорила языком Платоно-ва.

В. Шаров обосновал платоновское мышление как выражение раннехристианского эсхатологизма, ставшего собственно русской традицией. Ожидание конца действительного мира и начала мира нового привело к отказу от реального материального мира («от тела, от плоти – главных хранителей грязи, гре-ха, похоти, главных искуителей»). Платонов создал образ мира, соединённого «родством всего со всем», организма, в котором «нет никакой разницы между человеком и животным – все одинаково мучаются и страдают». И Платонов воспроизводил «очище-ние... от плотской оболочки жизни», самоё бес-плотность жизни: «душа человека, которая в обыч-ное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена», «еду <...> заменяет тепло, <...> плоть редка и прозрачна». Онтология Платонова выводится не только из преодоления смертности материи (идеи воскрешения мёртвых Фёдорова), но прежде всего из христианского вос-приятия земного мира как временного, как испыта-ния на пороге иной, нематериальной жизни. По Ша-рову, не человек-демиург, а «народ веры» интересу-ет Платонова, для этого народа «реальность – ма-ленький светливый поплавок, пляшущий на поверх-ности воды» [Шаров 2009: 163].

В. Отрошенко, вслед за И. Бродским, объясняет онтологию Платонова метафизикой языка, метафи-зикой надперсонального текста. Внимание Платоно-ва к реалиям земной материальной жизни исходит из позиции вневходимости, мистически обретае-мой пишущим: «Платонов это посторонний дух на Земле, постигающий способ жизни в теле, в мате-рии» [Отрошенко 2001: 77]. Платонов «обращен вовсе не к человеческому сознанию и изъясняется вовсе не с человеческими существами, а с существ-вом равным себе или стоящим выше. Ему, этому высшему существу показана жизнь в избранном сгустке вещества, который называется земным ми-ром. И свойства именно его сознания, божественно безучастного, удаленного и всепринимającego, учи-тывает на каждом шагу существо языка Платонова, и в особенности там, где является смерть, которая не представляет для этого сознания трагически значи-тельного события» [Отрошенко 2005: 52].

### Трактовки антропологии Платонова

Центр художественного мира – человек – по-разному воспринимается писателями-читателями Платонова. Для «шестидесятников» более интересен был «конкретный» человек с индивидуальным соз-нанием, в конкретных социальных и бытовых си-туациях – такого героя они находили в рассказах 1930–1940-х годов (упоминаются чаще других «Третий сын», «Фро», «Возвращение»). Писатели,

умалчивая о раннем Платонове, принимали этику позднего Платонова: «выражал он эту мысль о бу-дущем человека в виде любви к нему и сочувствия к нему» [Битов 2001: 181], к его «малости» (созвучно битовской идее инфантильности), недооволенно-сти души (созвучно трифоновской идее «недочувст-вия»). Платонов, как европейские экзистенциалисты его времени, открыл абсурд бытия, но платоновский гуманизм русскими писателями 1960–1970-х годов сводится к состраданию индивидуальному человеку. Показательно стремление Ю. Трифонова читать Платонова «по-своему», на что «ненужно останав-ливает внимание» [Трифонов 1985: 276], не так, «как он написал»: «Мы читаем в рассказах Платоно-ва то, что хотел сказать художник, и ещё что-то, чего он не знал, но знаем мы, пережившие его» [Трифонов 1985: 75]. Сходное суждение есть у А. Битова: «И вот когда пытаешься читать не как Платонов написал, а что Платонов написал, и воз-никает эта неизъяснимая трудность чтения, и какое-то проваливание, щель между наслаждением и стра-данием» [Битов 2001: 182].

Платонов был чужд писателям, устремившимся к воспроизведению феноменальности жизни, напол-ненности реальными связями, бытовыми. Не Плато-нов, а Чехов был источником влияния, поскольку чеховская точность и аналитизм были индивидуали-зированными: «Чехов писал не о человечестве, но о людях <...> Он <...> изучал и описывал свойства человеческой души, выражаемые в поступках» [Рас-путин 2000: 24-25]. Ценилась «авангардистская» художественность Платонова, направленная на пре-дугадывание, но отталкивала манера изображать типическое, символизировать реальность: «Меня интересуют характеры. А каждый характер – уни-кальность, единственность, неповторимое сочетание черт и чёрточек» [Трифонов 1985: 85].

Ю. Нагибин видел «небытовые свойства харак-теров» [Мамлеев 2012: 117] и, зная открытия Плато-нова в «Чевенгуре», всё же трактовал его героев как носителей конкретного гуманизма (уже цитирова-лось: «человека можно исцелить только другим че-ловеком, а человечество не в дали неопределённой множественности, а всегда рядом с тобой» [Мамле-ев 2012: 112]. В постсоветское время писатели-реалисты оценивали безбытность платоновского героя как социальную маргинальность, природность платоновского героя как телесную, физиологиче-скую детерминированность: «Герой платоновского романа <...> обуреваем уникальной мыслью опере-жения: “Слишком медленно мы раздеваемся!..”, и герой ищет: скачет и скачет по оголяющейся Рос-сии»; Платонова «не пугало. Более того! Он ждал... Нагота, если сама по себе, притягательна для ху-дожника. Нагота не стыдлива, если она абсолютна. Нагота антична» [Маканин 1998: 160].

Напротив, писатели-почвенники пытались отождествить героя Платонова с «корневым рус-ским человеком, несущим в себе тысячелетнюю па-мять», хотя обнаруживали в нём же внеисториче-ского человека, носителя природного (мифологиче-ского, иррационального) сознания: «Герой Платоно-ва, подобно автору, словно бы прошёл через все ты-

сячелетия, в которые существует его земное лоно, и в недоумении, зачем же оторвали его от вечности, на мгновение остановился перед читателем. За это мгновение нам даётся рассмотреть, насколько он естественный, природный человек, думающий не согласно с приобретённым опытом человечества, а согласно с органической природой» [Распутин 1999: 7].

Угадывая близость народному сознанию в платоновском герое, С. Залыгин не мог обойти несоответствия: герой – носитель и природного сознания, и родового коллективного сознания, и рационалистического персонального сознания. Герои Платонова лишены этического табу: «Здесь носители добра и не думают изображать ангелов – то и дело они сами заблуждаются» [Варламов 2012: 335]. С другой стороны, платоновские герои *нездешние*: «они всегда готовы... экспериментировать над собою в поиске истины своего существования», Платонова отличает «стремление к постижению той степени трагизма, на которую человек способен сегодня ради более счастливого завтра». С третьей стороны, человек у Платонова – плотское создание, однако плоть – это инструмент связи со всем космосом: «Плоть – совершенный инструмент для улавливания импульсов Земли и даже вселенной, его герой идёт босой по дороге, но касается не дорожной пыли и грязи, а непосредственно земного шара. Он чувствует себя рядом со звёздами, а все ветры от самого незаметного до шквального он пропускает через себя <...> Плоть у него не отвергает человека, а утверждает его в самых разных проявлениях, в том числе – и в его сознании. И платоновский человек никогда не стремится отделить себя от своей плоти...» [Варламов 2010: 340]. Залыгин сформулировал антропологическое понимание человека: «Платоновские герои обладают не только психологией, а... ещё и биопсихологией. Их мысли, как и вся их психическая деятельность, это продукт не только мозга, но и всего вполне самоощущаемого и даже самоистязаемого организма» [Варламов 2010: 341]. Платоновский человек, по Залыгину, «если в каком-то смысле и историчен – то опять-таки в смысле природном. Он никогда не вспоминает ни своей истории, <...> не обращается памятью и воображением к своим предкам <...> но каждый из его героев, будучи только сегодняшним, тем не менее никогда не является пионером человеческого существования, первооткрывателем жизни. И мы угадываем в нём преемственность поколений, наследственность, а вовсе не благоприобретённость его свойств, качеств и побуждений» [Варламов 2010: 341]. Из биопсихологической природы человека Залыгин выводит созидательную интенцию в героях Платонова: «обладают как бы первозданной, не деформированной грузом образования натурой <...> они – жители мира и его работники» [Варламов 2010: 347], они включены в «единый биопсихологический, природный процесс», «решают ту же высшую проблему человеческого существования, включая сюда и практическую деятельность...» [Варламов 2010: 348].

В. Шаров, напротив, видит в человеке Платонова первородность, ставящую его на границу меж-

ду человеком и зверем, именно от этой природности, телесности, звериности, как от тяжкого греха, стремится избавиться человек, подвергая насилию всё плотское в себе и других: «Корень – в убеждении Платонова, что нет границы между человеком и зверем, и между живым и неживым» [Шаров 2003: 201]. В изображении человека Платоновым Шаров видит проявление «какой-то невозможной стеснительности и стыдливости, потому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена» [Шаров 2003: 200], так что обнаруживается чистое сознание, душа, как перед судом Бога. В отличие от Залыгина, Шаров утверждает «здешность» персонажей Платонова: «Платонов иногда пишет чужих, <...> но куда чаще его герои сплошь здешние. <...> Однажды <...> они начинают видеть мир совсем не так, как прежде. Последнего вполне достаточно, чтобы мир и в самом деле разом стал иным, чтобы в нем все и в одночасье переменялось. <...> Писатель будто знает, что их понимание мира и они сами скоро погибнут, в лучшем случае без остатка растворятся в остальном народе, и Платонов плачет, оплакивает и их, и тех, кого они убили во имя своей правды» [Шаров 2005: 156, 157]. Антропологию Платонова Шаров ведёт из христианского исихазма, но признание греховности живого человека сопротивляется и чувственному восприятию, и этике. Напротив, В. Отрошенко, читая платоновские записные книжки 1939 года («Люди и животные одни существа: среди животных есть морально даже более высокие существа, чем люди. Не лестница эволюции, а смешение живых существ, общий конгломерат»), делает вывод о невыделенности человека из разных проявлений бытия в представлении Платонова [Отрошенко 2005].

В понимании О. Павлова, Платонов показал человека, одержимого смертью: «Платонов, осознавая мир как творение и присутствие в нем высших сил, не поверил в отцовство Бога. <...> Воскрешающая сила, по Платонову, – любовь, но опять же не к Богу. Это любовь, иступленно не признающая смерти, – природное вживание в сотворенное твоей же любовью существо» [Павлов 1998: 161]. Человек у Платонова встал в центр бытия, его миссия – преодолеть смертность живого, свою любовью к смертному: «Природа заражена смертью, существование людей неподлинно, жертва сокрушительна. <...> Возникает страх, что некому любить: перерождаются природа и человек, исчезая как источники любви. И все творчество Платонова есть преодоление этого страха» [Павлов 1998: 162]. Бесстрашие автора заключается в изображении того, как страхом перед смертью подавлены его герои, но этот страх должен побудить их не к вере в метафизическую силу воскрешения, не к телесному воскрешению мёртвых, а к миссии смертных людей сопротивляться смерти близких: «Он исповедовал любовь и как последнее спасение – воскрешающую любовь к смертным. Не к мертвецу, а к тому ребенку, которым предстает перед смертью каждый человек. Преданность этой любви и этому сознанию в Платонове была такова, что, если бы Бог был смертен, именно тогда он бы



ощутил Его живым – и уверовал бы в Него, и возлюбил» [Павлов 1998: 161]. Павлов приблизил Платонова к писателям-экзистенциалистам, утверждавшим «бунтующего человека», а не к мистикам.

А. Варламов акцентирует открытие Платоновым двойственности человеческой природы, столкновение природной и рационалистической сущности человека: разум свободен – природность корректирует свободу. По Варламову [Варламов 2000], основная идея Платонова – это идея человека, который ушел от Бога и всю жизнь к Нему возвращается. Герой Платонова – человек-сирота, лишённый покровительства и путеводительства высшего существа, а не природы, ограничивающей своеволие, но не направляющей. В прозе с середины 1930-х годов появляется человек, преодолевающий сиротство, экзистенциальное одиночество.

И. Клех видит платоновского человека как существо, в котором пробуждается сознание, и автор изображает не телесность человека, а сознание, «через которое пытается с нами заговорить сама природа, чьим созданиям доставляет боль рождение лопающейся в мозгу мысли, а её прохождение родовыводящими путями речи приводит живые существа в изнеможение, нередко уродуя саму мысль до неузнаваемости» [Залыгин 1994: 52, 53].

#### **Толкование историософии и социологии Платонова**

Заметная тенденция здесь – от этического эволюционизма у писателей 1960–1970-х годов к мистицизму (а не к социологизму) постсоветских писателей-читателей Платонова. В 1960-е годы духовный путь Платонова представлялся общим для русской интеллигенции: ангажированность социальными и техницистскими идеями начала XX века; А. Варламов повторяет «шестидесятничское» объяснение духовного развития Платонова как «писателя социализма, изжившего его в себе» в постсоветское время. Однако на первый план выдвинулось национально-мистическое истолкование социально-исторической концепции Платонова. Общим стало выявление идей Н. Фёдорова («национальная эсхатология фёдоровского разлива» – А. Битов; «фёдоровский утопизм» – А. Варламов), на второе место – русская хилиастическая идея (И. Бродский, В. Шаров). Пожалуй, лишь А. Битов и А. Проханов напоминают о влиянии ноосферных идей В. Вернадского на представления Платонова о миссии цивилизации в природе.

Другой аспект социологии Платонова связан с определением позиции писателя при изображении социально-исторической реальности: изнутри (разделяя трагические противоречия сознания народа) или извне (в позиции пророка либо, наоборот, бесстрастного фиксатора абсурда национальной истории). По мнению А. Варламова, лучшие произведения Платонова рубежа 1920–1930-х годов написаны писателем-судьей, разочаровавшимся не только в Боге-Отце, но и в человеке: «Вот кем написан “Котлован”»: человеком с мертвыми бесслезными глазами, гениальным сторожем, евнухом и узником платоновской души, Сатаной его мысли, русским Босхом, изобразившим картину страшного суда или,

вернее, некой зловещей пародии на Страшный Суд, который вершит не милосердный Господь, но Его противник, и где все – и грешники, и праведники – идут одной дорогой, потому что Бога больше на русской земле нет» [Варламов 2010: 160]. А. Битов же [Битов 2001] видит расхождение Платонова с реальной историей народа в обретении позиции не только ужаса, но сострадания к людям, сочувствия, направляющего не народ, а отдельных людей: «страшную и сочувственную правду о конце усилий цивилизации» (не только о заблуждениях народа!) Платонов сопровождал сочувствием всему живому, не улучшенному цивилизацией.

Бродский утверждал подчинённость Платонова сознанию эпохи и нации: «он писал на языке данной утопии, на языке своей эпохи», он «не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером происходящего» [Бродский 2001: 73]. «Представители традиционно неодушевленной массы являются у Платонова выразителями философии абсурда, благодаря чему философия эта становится куда более убедительной и совершенно нестерпимой по своему масштабу» [Бродский 2001: 74]). О. Павлов, напротив, подтверждая связь Платонова с народом, констатирует особую позицию пророка, проводника пути спасения народа: «Платонов, наподобие раскаявшегося грешника, разглядел в коммунистической утопии “Россию, пропахшую трупами ” <...>. Он не раскаивается в своей любви к трудовому русскому народу и в своей вере <...> идее вселенского беззачетного строительства; но вот самого этого человека будто бы подменила встреча с чем-то. Суть платоновского писательства и дара, открывшегося в нем, – в таинстве превращения, но не в <...> осознании собственных жизненных ошибок. И могло это быть встречей только с чем-то сверхъестественным...» [Павлов 2000: 161].

Для В. Распутин 2000-х годов Платонов – абсолютный выразитель народной точки зрения на жизнь; как ни странно, Распутин не говорит об антиреволюционном пафосе произведений Платонова (который заслонил философскую сложность прозы Платонова в постсоветский период), не хочет видеть в Платонове ни выразителя, ни критика русского утопизма и мессианства, считая «главной и всеобъемлющей его темой – скорбь по миру и человеку»: «Платонов, и герой его новую жизнь приняли добровольно, и защищали её, и строили, но когда повернула она на неестественные пути и принялась затруднять вольное дыхание человека и земли, когда даже и котлован её не мог врасти в почву, платоновский герой, внимательный ко всему происходящему, ценящий прежде всего волю, с болью отнимает от него, от строительства, свою душу» [Распутин 2000: 9].

#### **Истолкование поэтики Платонова**

Поэтика Платонова по-разному интерпретируется писателями советского и постсоветского времени, что требует более глубокого объяснения. Обозначим лишь некоторые аспекты.

Авторскую позицию по отношению к изображаемому оценивают и как позицию этическую, и



как позицию предельного объективизма, бесстрастного аналитизма. А. Битов говорил о выраженности позиции автора в прозе Платонова: «выражал он эту мысль о будущем человека в виде любви к нему и сочувствия к нему» [Битов 2001: 181]. В. Шаров говорил о проповеднической позиции, «с какой обращаются к людям в последние времена, при их конце», так как «с этим федоровским упованием на человека Андрей Платонов тоже был вполне солидарен, хотя и смотрел на него куда более трагично. <...> Платоновский же опыт – революция, военный коммунизм, Гражданская война – оставлял мало надежд на спасение без страданий и боли, без смерти и страшного суда, который человек тоже сам творит над собой» [Шаров 2009: 160].

Позиция авторской объективности объясняется либо позицией природы, равно принимающей смерть и жертву и не декларирующей идеи (С. Залыгин); либо позицией учёного-химика или натуралиста, препарирующего человека (Ю. Нагибин, И. Клев); либо позицией Бога (О. Павлов); либо безжалостной позицией языка и текста, соотносимых с реальностью (И. Бродский, В. Отрошенко). Многие из названных писателей обнаруживают психическое и художественное двойничество автора, совмещение позиции внутри и извне, сочувствия и объективной фиксации самых страшных проявлений жизни.

В трактовке образного мира Платонова признаётся значимость изображения телесной плоти жизни, хотя цель её воссоздания объясняется по-разному: анимизм в изображении телесного, равно как и созданного руками человека (С. Залыгин, А. Битов, В. Шаров); сюжет отмирания плоти и обнажения духовного человека (В. Шаров); поэтика процесса исчезновения телесного (О. Павлов).

Обращает внимание писателей в художественном мире Платонова нарушение реальных форм и отношений: фантастичность в изображении реалий (Ю. Нагибин), сюрреализм (И. Бродский, И. Клев), особая «фантастика» (О. Павлов). С. Залыгин сравнивал со сказочным миром несказочный мир Платонова, в котором нет пейзажей (они замещаются пространством мира), символичны образы и детали; в отличие от сказки, в прозе Платонова нет сюжета, есть воспроизведение процесса, код которого неизвестен [Залыгин 1991: 254-255]. В. Распутин определил поэтику Платонова как поэтику рождающейся словесности, где «всё не по правилам», наивно и неровно [Распутин 2000].

Противоречиво (в соответствии с собственным пониманием природы слова) определяют современные прозаики генетический источник языка Платонова: изначальный язык, гул первобытной народной речи (О. Павлов); язык пророка, новый язык нации (В. Шаров); язык страны небытия (Ю. Нагибин); сказовая традиция в соединении с разговорным диалогическим словом (С. Залыгин); язык древних русских летописей (В. Распутин); детская непосредственность, возвращающая словам первоначальный и точный смысл (А. Битов); ненатуральный, вычурный язык, излишне велеречивый (Ю. Трифонов); стилистический эксперимент, порождённый мета-

физикой языка и социальным экспериментом; не сказовая традиция, а язык эпохи, подчинивший жизнь и обнаруживший тупик (И. Бродский).

Актуальность прозы Платонова объясняется не только концом советской цивилизации, которую по-разному трактовал Платонов в разные периоды его творчества. В ситуации постмодерна, возвращения к неиерархической («первобытной», по определению В. Курицына) культуре актуально платоновское неиллюзорное видение человеческой природы, «осознание неэтичности *одушевленного бытия*» (О. Павлов), тупика проектов, эпистем, самого языка (И. Бродский). Творчество Платонова даёт пример не столько любви (версия А. Битова), сколько «преодоления страха» (версия О. Павлова), побуждает создавать искусство, в котором бы «сам мир нашел себя и пришел в равновесие и где бы нашел его человек родным» (А. Платонов «Пролетарская поэзия», 1923).

#### ЛИТЕРАТУРА

- Астафьев В.* О любимом жанре (1967) // Астафьев В. Собрание сочинений: В 15 т. Т. 12. – Красноярск: Офсет, 1998. С. 246-255.
- Битов А.* Экология слова (1971) // Битов А. Дерево. 1971-1997. – СПб.: Пушкинский фонд, 1998. С. 21.
- Битов А.* Писатель пишет смыслами // Литературная газета. – 1983. – 3 авг.
- Битов А.* В поисках реальности: Бес. с Е. Шкловским // Литературное обозрение. – 1988. – № 5. – С. 32-38.
- Битов А.* Две заметки о гласности (1990) // Битов А. Неизбежность ненаписанного. – М.: Вагриус, 1999. С. 381-387.
- Битов А.* Пятьдесят лет без Платонова // Звезда. – 2001. – № 1. – С. 180-183.
- Битов А.* Пустая сцена. Предисловие // Платонов А.П. Ноев ковчег: Драматургия. – М.: Вагриус, 2006. С. 6.
- Бродский И.* Послесловие к «Котловану» А. Платонова (1973) // Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. 7. – СПб.: Пушкинский фонд, 2001. Т. 7. С. 72-74.
- Бродский И.* Катастрофы в воздухе (1984) // Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. – СПб.: Пушкинский фонд, 2001. Т. 5. С. 197-206.
- Варламов А.* Читательский Платонов // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 3. – М.: ИМЛИ, «Наследие», 1994. С. 375-377.
- Варламов А.* Третий сын // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 4. По матер. 4-й конф. 1999. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 42-45.
- Варламов А.* На адовом дне коммунизма. А. Платонов от «Чевенгура» до «Котлована» // Октябрь. – 2010. – № 7. – С. 122-161.
- Залыгин С.* Сказки реалиста и реализм сказочника. Очерк творчества Андрея Платонова (1970) // Залыгин С. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 6. – М.: Художественная литература, 1991.
- Залыгин С.* Участникам конференции по роману А. Платонова «Счастливая Москва» // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 3. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 1994. С. 107-108.
- Клев И.* Платонов. Фазы прохождения // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 4. По матер. 4-й конф. 1999. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 51-54.
- Маканин В.* Отяжеление слова в «Чевенгуре» А. Платонова // Slavica Helvetica. – 1998. – Bd/Vol. 58. – С. 254-255.

*Маканин В.* Одна из возможных точек зрения на нынешний русский роман // Новый мир. – 2004. – №1. – С. 158-162.

*Мамлеев Ю.* Россия вечная. – М.: РАЕН, 2011.

*Мамлеев Ю.* Человек как зверь и ангел между небом и землёй: Интервью В. Цветковой // Сайт НГ. 19.04 2012. Режим доступа // <http://www.peoples.ru/art/literature/prose/roman/mamleev/interview.html>.

*Нагибин Ю.* Андрей Платонов в театре (1967) // Нагибин Ю. Литературные раздумья. – М.: Сов Россия, 1977. С. 110-121.

*Нагибин Ю.* «Он принял меня в братство боли» // Родина. – 1989. – № 11. – С. 73.

*Нагибин Ю.* Самый страшный роман Андрея Платонова (1992) // Нагибин Ю. По пути в бессмертие. – М.: АСТ, 2005. С. 284-294.

*Отрошенко В.* Встреча в Тамбове // Октябрь. – 2001. – №12. Цит. по: *Отрошенко В.* Тайная история творений. – М.: Культурная революция, 2005. С. 50-54.

*Отрошенко В.* Книга для комментария на скрипке // Вопросы литературы. – 2001. – № 7. Цит. по: *Отрошенко В.* Тайная история творений. – М.: Культурная революция, 2005. С. 71-77.

*Павлов О.* Мы после Пушкина и – после Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 3. – М. ИМЛИ РАН, «Наследие», 1994. С. 373-374.

*Павлов О.* Метафизика русской прозы // Октябрь. – 1998. – № 1. – С. 167-183.

*Павлов О.* После Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова: проблемы творчества. Вып. 4. По матер. 4-й конф. 1999. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 10-15. Цит по: Октябрь. – 2000. – № 6. – С. 159-163.

*Павлов О.* Я пишу инстинктом: Беседа с Т. Бек // Вопросы литературы. – 2003. – № 5. – С. 202-203.

*Полянская И.* Литература – это послание // Вопросы литературы. – 2002. – № 1. – С. 243-260.

*Проханов А.* Пророк русской победы // Завтра. – 21.09.1999. Режим доступа: <http://www.zavtra.ru/denlit/027/13.html>.

*Распутин В.* Литература спасет Россию Выступление на 10 съезде Союза русских писателей (1999). Режим доступа: <http://www.baltwillinfo.com/spr/sp-13.htm>.

*Распутин В.* Свет печальный и добрый // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 4. По матер. 4-й конф. 1999. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 7-9.

*Трифонов Ю.* Возвращение к “prosus” (1959) // Трифонов Ю. Как слово наше отзовётся. – М.: Сов Россия, 1985. С. 75-80.

*Трифонов Ю.* О нетерпимости (1966) // Трифонов Ю. Как слово наше отзовётся. – М.: Сов Россия, 1985. С. 67-74.

*Трифонов Ю.* Преходящее и вечное (1970) // Трифонов Ю. Как слово наше отзовётся. – М.: Сов Россия, 1985. С. 81-83.

*Трифонов Ю.* Книжки, которые выбирают нас (1976) // Трифонов Ю. Как слово наше отзовётся. – М.: Сов Россия, 1985. С. 272-279.

*Трифонов Ю.* Выбирать, решаться, жертвовать (1971) // Трифонов Ю. Как слово наше отзовётся. – М.: Сов Россия, 1985. С. 84-88.

*Шаров В.* Об Андрее Платонове (1999) // «Страна философов» Андрея Платонова. Проблемы творчества. Вып. 4. По матер. 4-й конф. 1999. – М.: ИМЛИ РАН, «Наследие», 2000. С. 39-41.

*Шаров В.* «Это я: я прожил жизнь» // Дружба народов. – 2000. – № 12. – С. 199-203.

*Шаров В.* Меж двух революций. Андрей Платонов и русская история // Знамя. – 2005. – № 9. – С. 174-192.

*Шаров В.* Памяти Пролетарской Силы (Андрей Платонов) // Знамя. – 2009. – № 8. – С. 154-165.

*Шаров В.* О записных книжках Андрея Платонова // «Страна философов» Андрея Платонова. Вып. 5. По матер. 5-й конф. 2001. – М.: ИМЛИ РАН. 2003. С. 405-410.

*Шаров В.* Искушение революцией (2004) // Страна философов А. Платонова. Вып. 6. По матер. 6-й конф. 2004. – М.: ИМЛИ РАН. 2005. С. 199-202.

#### **Данные об авторе:**

Татьяна Леонидовна Рыбальченко – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской литературы XX века Томского государственного университета.

Адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, д. 36.

E-mail: talery48@mail.ru

#### **About the author:**

Tatyana Leonidovna Rybalchenko is a Candidate of Philology, Assistant Professor of the Chair of Russian Literature of the Tomsk State University (Tomsk).